

Дождит в субботу и в воскресенье, и в саду налиты до краев две белые вазы. В горлышках их обеих спят жуки-водомеры; по жукам щелкают крупные капли.

...Дорога измотала его, и ветла, раненная прошлогодней грозой, стучалась в окно и измотала еще больше, и он не уснул. Он вспоминает, как немного лет тому назад сам попросил, чтобы дом для них был в саду, одергивает одеяла и уходит прочь из комнаты. Последнюю неделю он весь выветрился в поездах, и возит с собой сам дух купейного вагона и стучающие колеса, и холод из форточки – прямо под пижамной рубашкой.

Он идет на лестницу, ступеньки похрипывают под ним. Он удивляется, что и в этот естественный звук, привязанный всегда к его дому, забралось «тук-тук-так-ту-у!».

Он спускается, с одной рукой на перилах и мыслью о том, что держаться двумя – еще нет, не по возрасту, а скажи кому о бессоннице – упадет со смеха.

Пижамы на ногах доходят до щиколоток. Ноги гудят – день напролет носили его по размокшему Петербургу.

...Энгельгардт попадает к нему в западной гостиной. Она выглядит молодой и маленькой, на ней ночная сорочка, и перед ней на столе – всего один слабый светильник. От светильника идут пятна такого цвета, как если бы в нем поселилась маленькая заря, и в пятнах скатерть, и сама Энгельгардт также в пятнах. Кроме светильника на столе он видит коробочку. У коробочки откинута крышка, и по гостиной – тонкий минор. Энгельгардт сидит, скосив голову к плечу, и смотрит внутрь коробочки. Там механизм крутит в танце маленького кавалера в жабо и маленькую даму.

Стул под Энгельгардт стоит хитро боком.

– Оля? – окликает он вполголоса.

Она, не поворачивая головы, говорит:

– Я посидеть пришла. Не спится.

Голос ее дрожит, в ее голосе много воды. Он догадывается, идет к ней ближе, останавливается у самого стола. Теперь он кладет правую руку на верх коробочки. Завод выхрустывает одну нотку и запирает всю музыку. Энгельгардт удивляется и поднимает на него глаза, блестящие, водяные.

– Я, Оля, так берег, пока в Питере ходил. Завернуть не завернули, и я по-всякому, понимаешь, спасал от ливня... Машу огорчу, думаю, если испортится... А тут от тебя все равно заржавеет. Что за дело, Оля?

Энгельгардт приставляет платок к глазам, не отвечает ни слова и не дышит. Женская истерика от него надежно запрятана.

– Отчего ты плачешь? – Он гладит ее по голове левой, не дуэлянтской рукой.

Она отвечает:

– За тебя тяжело... Не могу.

– Ну... – Он обнимает ей зараз оба плеча, в ней что-то прорывается, и она плачет в голос. – Дети спят, Оля, ты что.

Энгельгардт поднимается со стула. Голова Энгельгардт приходится ему между подбородком и грудью. Он выпрямляется, смотрит поверх нее и скрещивает на ней руки. На шее у него моргают.

– Уйди, уймись. И так знобит, еще ты холодная, – он высвобождается и сажает Энгельгардт обратно.

– Ты не заболел? – Энгельгардт водит по нему светло-голубыми глазами, трогает его щеку.

– Нет, здоров, – отвечает он. – Перемерз, перетрясло... Ничего, Оля.

– Смотри. Сам, – произносит Энгельгардт, глотая слова обрывками.

Он уходит к дверям, оборачивается. Энгельгардт сидит, упирает лоб в ладонь, как приговоренная.

– Петя!.. Посиди со мной. Минутку.

Он идет опять к столу, берет себе стул, складывает руки на колени.

– Так, Оля?

Энгельгардт кивает, кивок ее судорожный, набирает воздуха.

– ... Ты сам ничего не боишься, я вижу. А я, дети... Тебе не жаль, да?

– Оля, ты что! Откуда ты взяла все это? – Он поднимается. Лицо его вытянутое.

– Скажи мне, – свистит из ее груди. Она протягивает к нему руку. – Плохо ли нам было все время, пока тебя не назначили? Плохо ли? Почему ты просишь себе больше этой муки?

– Я не прошу. Я и ничего не решаю, – говорит он, придвигая к себе светильник. Теперь заревые пятна ползут по его рукаву.

– Разве нельзя было отказаться? Нашли бы другого...

– Я отказывал, отказывал дважды или трижды! – Он шумно роняет на стол ладонь. Она вздрагивает, закрывается от него руками. Он говорит, очень понижая тон: – Прости, Оля, я тебя напугал.

Она смотрит в сторону.

– Если бы даже он сам приехал к нам сейчас, стал здесь, увидел, как ты страдаешь... Хоть Христом Богом умоляй я его отменить назначение – он не согласится, Оля. Я сколько говорил с ним, я твердил: «Не могу, не могу, Николай Александрович. Это против моей совести». Он

пожимал плечами, отвечал мне: «Тогда я вам приказываю это сделать. У вас – одна совесть, я думаю, вы скоро примиритесь с ней. У меня – совесть ста двадцати восьми миллионов. Это совершенно другое. Ваше назначение нужно не мне, ваше назначение нужно ста двадцати восьми миллионам».

– О, – Энгельгардт, выслушав, улыбается печальной улыбкой. Ее губы, бордовые, расплывшиеся, сведены. – Неужели ничего не сделаешь?

– Ничего, – говорит он. – Я не слушаюсь.

Секунду они оба не произносят ни слова. Она собирает платком со стола слезы, поспешно говорит:

– Можно ли тогда просить какие-нибудь гарантии? Когда нас посетят, можно ли, чтобы он, – здесь она закатывает глаза наверх, – приставил к нам людей?..

– Не знаю. Это, так сказать, еще открытый вопрос, – отвечает он. – Я задумал: посетителей буду сам принимать. Обустроим общественный кабинет...

Он подбоченивается, убирает ногу на ногу. Она смеется.

– Общественный кабинет!.. Какой ты смешной. Похудел еще, Петя.

– Я-то? – Он смотрит на пижамную рубаху, которая надета на нем свободно. – Не говори.

– А что поездка вообще?

– Обыкновенно. Приехал, одну ночь в Петергофе ночевал, завтрак там же... Позавтракал я без удовольствия: с ними со всеми неловко. Не знаю, Оля... На второй день я спросился в город. Он сказал мне: «Оставайтесь, гостите у меня. Тем более я вижу: вам негде расположиться». Я поблагодарил и следом ответил, что поищу номер. Он ответил на это: «Как пожелаете». Мы прощались, и я еще передал поклон от тебя Марии Федоровне.

– Правильно.

– Следующим утром меня сопроводили до города, и около десяти я уже искал место. Вообрази, номеров нигде нет. И сколько угодно денег давай. Даже чемодан не хотели устраивать.

– Ты бы назвался, Петя. Телеграмма при тебе была?

Он отмахивается.

– При мне, при мне. Я и назвался. Нашли, откупил двухкомнатный.

– А погода там? – Энгельгардт кладет подбородок на руки. Глаза ее полузакрыты.

– Погода дрянная. Дожди... Грязь – до небес, никакой красоты не видел. Ходил пешком.

– У нас тоже вон дождь... Не перестает. А почему же в пролетку не сел?

– Не поймашь ни одной. Как вы здесь были? Что с детьми?

– С детьми? Порядок, Петя, – она поднимается, хватая сцепленными ладонями коленку, качается на стуле.

«Сама себя укачивает», – справедливо кажется ему. Она продолжает:

– Маша не дает в шкафах ревизию навести, сама, говорит, переберу, чтобы ничего не трогали. На тебя похожа страшно... У Оли новое дело – шитье, она на меня насмотрелась. Я же занимаюсь, когда делать нечего. Младшие учатся, дневнички я теперь беру. Аркаша вчера крутился целый день, тебя спрашивал.

Он улыбается.

– А ты что сказала?

– Я сказала: «Папа в Петербург поехал. Он новую работу получил, хорошую, о какой мечтал. У нас у всех – радость». Ты прости меня, – она вздыхает, расцепляет замок пальцев.

– Ладно. Что там, – он отворачивается, подсовывает левую руку под щелку светильника. Розовое пятно плывет от его ногтя. Он ждет, и у запястья ловит пятно правой рукой. Не пойманное, оно продолжает плавание поверх двух его рук.

– Столько мелькает всего: ты нравишься выдающимися делами, ты завтракаешь в Петергофе, ты пошел к земским, заседаешь где-нибудь, едешь задерживать... Бросаются в тебя... бомбами. Знаешь, мы с Машей условились: около тебя я одна буду ходить, а она пусть со всеми по другой стороне улицы, мало ли...

Энгельгардт пристально смотрит на него. Ее глаза сочно-синие, в глазах блестят. Он встает, прохаживается по комнате. Она слышит:

– Я думал, этой теме конец, а сам не дождусь от тебя пощады. Больно.

Она верит, оставляет стул, идет к нему. Ноги ее затекли – она шатается.

– Я не хотела, Петя. То был последний раз.

– Как же, последний...

Он смотрит на нее. От игр ночной тени ее профиль непривычно продолговат.

– Ты себя измаяла, Оля. Тебе бы спать. Сколько можно.

Энгельгардт вжимает губы и трясет головой.

– Нет, – она хочет сказать с твердостью, но ее слово в чем-то тонет. – Не пойду.

– Выйдем на террасу? – спрашивает он, кивая на большие занавешенные двери перед собой.

Энгельгардт зовет их «летними дверями»; за ними – место, где сейчас все заполонил плющ, скрипит качалка и на хромоногом столике увязаны горы журналов.

– Там сора много, – говорит Энгельгардт. – Не убрано. В этот год еще не открывали. Тепло ведь неделю назад началось.

– Не открывали?

Он поворачивается на пятках, уходит. Она не следит за ним и удивляется, когда видит его опять: он несет стул.

– Ты что? – спрашивает она.

– Полезу открою.

Он оставляет стул вплотную около летних дверей, дергает занавески. Лезть ему не так сподручно, и он сначала ставит оба колена и потом с шумным выдохом выпрямляется в рост. Верхняя щеколда все же выше, он тянется на носки. До него доносится полуголос, шуршание: «Только бы не убился».

...Спускается он также, за несколько приемов, уносит стул, отпирает нижние щеколды. Бросив и отступив на шаг, он оказывается около Энгельгардт.

– Все, Оля, – удовлетворенно говорит он, хватая ручки рам.

Клубки серебристой пыли рассыпаны в воздухе, громыхает, трещит дерево, рамы бьют одна о другую. Стекло скрежещет, на пол падает жеваная тесьма, лоскуты, намотки – зиму летние двери держали затыканными, утепленными. Энгельгардт машет на себя, кашляет от пыли. Первое время воздух отдает сухой доской, старостью, но все улетучивается, и приходит запах растительной прохлады, влажной ночи, и гостина кажется налитой дождем до потолка.

Они оба с Энгельгардт замирают молча, дырчатые тюли веют и достают до них.

– Я сейчас, – он вдруг опять уходит. Энгельгардт решает не оглядываться и стоит одна, обдаваемая свежестью. Он возвращается, и она угадывает это по плащу, который он принес и который висит у нее на плечах.

– Спасибо. А сам так собрался, без ничего?

– Там лето. Ну, пойдём.

Он дает ей руку, и они идут на террасу. Останавливаются возле калочки. Сад шипит в темноте, на Энгельгардт летят дожди.

– Там, может, обшлага грязные, осторожно, – предупреждает он, кивая на плащ.

Энгельгардт разбрасывает руки. Он – обнял.

– Петя, ну куда ты повезешь меня? Ты важный человек, ты станешь меня стыдиться. Ты же видел, Петя, каковы все петербургские, да и я помню, хотя и сто лет назад было... Одни шляпки чего стоят.

– Ну, Оля, не знаю. Я на петербурженок не заглядывался, – он смеется. – Ох ты...

– Тяжело дома менять. Прирастаешь...

Она смотрит на небо и быстро думает:

«Возьму я, что ли, загадаю. У меня с собой – приколки, ключ, капли мои – для сна, платок. Сейчас уйдем с ним, и если ничего не брошу здесь, не оставлю – все хорошо будет».

Приколки она устраивает на волосы, одной второпях защипывает себе лоб. От ключа есть кольцо, и она нанизывает его на палец, почему-то на безымянный. Капли она хватает крепко рукой, не обремененной ключом, а платок мнет и толкает в карман сорочки. Теперь, готовая, она говорит:

– Пойдем уже?

– Пойдем, – соглашается он.

Они отворачиваются от сада, где два вечера подряд хулиганит дождь. Вместе перешагивают через порог в гостиную.

Карман сорочки на Энгельгардт ловит крючок, который приделали, чтобы поближе к августу вешать кашпо. Край платка выхвачен, а она не замечает. Они уходят. Платок прорван в середине, надут от ветра и развевается облачком. Висит вместо кашпо.

Уже в комнате она просит:

– Подожди.

Тянет руки к голове, проверить приколки. Ей, само собой, приходится разжать пальцы, и флакон с каплями, про который она забыла, выскальзывает вниз. Она, присев, только-только успевает поймать его в колени. Она шевелит безымянным пальцем – на пальце мешается и звенит ключ. Крепясь в последний раз, она хлопает по карману сорочки.

Ее рука безнадежно ударяется о ее же бедро, ничто не смягчает удар. В кармане нет платка. «В кармане нет платка», – тяжело выстукивает у нее в ушах. Испуганная, она лезет за пояс под плащ, проверяет дальше. Ничего.

– Петя... – произносит она с раздавленной нежностью.

Он, молча наблюдавший за всей драмой, тихо отвечает:

– Что с тобой?

– Я забыла. Платок.

Он закрывает летние двери, дергает тюли, отряхивает от ладоней штукатурку и пыль, спрашивает между делом:

– Какой?

Ответа нет. У него предчувствие, он оглядывается.

Энгельгардт стоит, перебирает пряжку на плаще. В ее лице нет движения, рот искаженно раскрыт. Глаза смотрят без ясности.

– Что с тобой? – Когда он делает шаг, она впивается в его руку. Ее неравномерно качает. Он держит ее за оба локтя. – Что случилось?

Не ожидая больше ответа, он берет плащ и толкает ее к себе. Голова ее сваливается к нему на плечо. Он увлекает Энгельгардт из гостиной, говорит ровным тоном, как при прочтении стихов:

– Тебе нельзя так, нельзя, Оля. Это уже не шутки. Ложись сию минуту.

– Я не усну. Мне каждую ночь теперь... – берется возражать она, но с безразличием.

– Вместе уснем, – говорит он. – Что там твоя дурнота? Вся пройдет.

Они преодолевают лестницу, на ступеньке Энгельгардт спотыкается. Он гнется на всю ширину лестницы, загораживает ее от падения, ругает:

– Смотри, Оля, какая ты... Вся болтаешься, всю трясет. После одиннадцатого часа чтобы никто ложиться не шел! Я запрещаю!

– Конечно, Петя. Скоро уезжаем?

– На послезавтра билеты... Держись!

– У меня в дорогу все готово, и у девочек, думаю. Ну, Аркаша вот... Ты посмотри, Петя, чего тебе собрать. Еще дам в стирку – просохнет за ночь.

Лестница совсем отвернулась от гостиной, следует в спальню, где мучается ветла, свежо и шумно. Светильник по полу пускает розовые кружочки. Дух улицы с садом пока не ушел, и по-прежнему пахнет, будто кто-то заготовил море салата из огурцов.